

Рецензии

КОНЦЕПТ В ДВИЖЕНИИ, ИЛИ ЕЩЕ РАЗ О ДЕМОКРАТИИ

Демократия, или Демон и гегемон

АРТЕМИЙ МАГУН

СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2022. – 2-е изд. – 154 с. – 1000 экз.

По-видимому, в мире политики, как профессиональной, так и любительской, на сегодня нет понятия, которое употреблялось бы чаще, чем термин, вынесенный в название этой небольшой книги. Политологические концепты, в особенности древние и затертые, нуждаются в том, чтобы время от времени их перетряхивали, проверяя на достоверность. Именно эту операцию Артемий Магун – профессор политической теории, работающий в одном из последних по-настоящему независимых российских вузов, – провел с понятием «демократия». Повторное издание этой работы предоставляет благодатный повод для того, чтобы подробнее присмотреться к процессу этого критического осмысления.

Уже во введении автор привносит в свое начинание элемент интриги, перечисляя несколько, как он выражается, «загадок демократии», которые как будто бы подрывают ее политическую безупречность. Во-первых, демократию вполне можно трактовать как своеобразный фасад, за которым прячется буржуазный представительный строй, пытающийся легитимировать себя посредством народной санкции. Во-вторых, экстраполяция демократического идеала на все глобальное людское сообщество представляется довольно утопичным проектом из-за того атрибута демократии, который автор называет «национальной и терри-

ториальной» ограниченностью. В-третьих, демократии присущ «парадокс аутоиммунности», в силу которого в демократических системах враги народовластия теоретически (и практически) способны приходить к власти посредством честных выборов, превращая тем самым демократию в «заложницу собственной демократичности». Из перечисленных «загадок» автор делает важнейший вывод: демократия вовсе не является политическим идеалом, пригодным для любого общества, – даже там, где ее приемлют, она зачастую оказывается не тем контрольным и сдерживающим механизмом, каким кажется на первый взгляд.

Вооружаясь методологическим инструментарием, позволяющим препарировать «загадки демократии», профессор Магун обращается к реконструкции эволюции, которую пережил интересующий его концепт, обращая особое внимание на сопутствующие семантические метаморфозы. Открытие, к которому он приходит, поначалу обескураживает: прибегнув к этому методу, исследователь быстро выясняет, что демократия явно принадлежит к тем политологическим терминам, смысловая нагрузка которых в различные исторические эпохи менялась, причем порой радикально. Начиная с античности слово «демократия» из обозначения альтернативного и анархического антирежима превращается в синоним устойчивой и удобной формы правления, способной избавить социум от тиранических режимов.

Но что значит «помочь социуму» – иначе говоря, народу – сделать то или это? Да и что, собственно говоря, стоит за понятием «народ», используемым в интересующем нас контексте? С одной стороны, замечает автор, современная демократия едва ли имеет

к народу какое-то отношение, и этот тезис можно аргументировать очень убедительно:

«Античная демократия основывалась на возможности общего блага для всех, в существование которого мы теперь не верим, поскольку для нас актуально исключительно индивидуальное благо. Точно так же не верим мы и в народ, а исходим из позитивистской, эмпирической теории познания, согласно которой существуют только единичные и наглядно демонстрируемые вещи. С этой точки зрения народа нет – а элиты, напротив, существуют, и их можно увидеть» (с. 27).

Но, с другой стороны, подобный скепсис уравнивается более компромиссным воззрением на демократию, согласно которому, образно выражаясь, «дистиллированная» демократия в природе отсутствует; она существует лишь в увязке со всевозможными предикатами, характеризующими те или иные практические ее аспекты, – показательны, в частности, «партиципаторная демократия», «делиберативная демократия», «радикальная демократия» и так далее.

Продолжая свое исследование, автор обращается к семантическим трансформациям слова «демократия», апеллируя к примерам из различных эпох, от античности до нынешнего столетия. При этом он вовсе не задается целью «рассказать о том, как все было на самом деле», руководствуясь задачей более узкой: Магун сосредоточивает внимание на столкновениях политических понятий и общественных практик, а также, и это главное, на последствиях подобных коллизий. Подобная модель исследования перспективна: ведь «исторические понятия, как они бытуют сегодня, содержат в себе в спрессованном виде свою историю, и она помогает нам объяснить недоразумения и противоречия настоящего» (с. 54).

Например, к Древней Греции автор обращается «не из-за того, что там появилась демократия, а из-за того, что она стала родной непрерывной теоретической рефлексией» на ее счет (с. 55).

В мировидении греков волнующий нас термин не играл значительной роли. Демократия в их глазах была лишь одним из возможных вариантов правления, который, кстати, имел по большей части негативные коннотации, поскольку отсылал к противостоянию многочисленный и невежественной толпы с немногочисленными и компетентными аристократами. Систему же, при которой народ ощутимо участвует в политической жизни государства, древние греки предпочитали именовать не «демократией», а «исономией» («равнозаконием») (с. 59). Позже, в Древнем Риме, понятие «демократия» практически исчезает из употребления. Его нишу занимает *res publica* (народное дело). Причем республика предстает не просто одним из вариантов политического устройства, а воплощением римского государства как такового, базирующегося на народном властвовании как на незаменимой основе. Народ в такой оптике становится едва ли не синонимом национальной целостности, что превращает его из «простонародья» в «общество».

В период Средневековья демократия мыслится в рамках христианской теологии, хотя сам термин богословами того времени не употребляется. Возведение христианства в статус государственной религии позволило обосновать власть в глазах бедных и угнетенных.

«Правители должны были платить дань этой религии и изображать смирение. В генеалогическом смысле такая форма идеологии связана с революционно-низовой легитимацией буржуазных режимов: [позже] они унаследовали от христианства его риторический “популизм”» (с. 82).

Под занавес Средних веков понятие «народ» трактуется многими мыслителями как подкрепление светской власти монарха и его легитимности. Однако со временем подобные доктрины перестраиваются и начинают настаивать на том, что «народ не

только имеет верховную власть и вступает с государем в договор, ограничивающий его права, но и сохраняет за собой право на сопротивление правителю, нарушающему условия договора» (с. 86). Иначе говоря, в обновленной трактовке демократия не только подразумевает совещательную причастность народа к власти, но и оправдывает его право на революцию.

Приход Нового времени ознаменовался компромиссом с республиканцами: возникает идеология репрезентативного государства. Народ по-прежнему остается непоколебимым источником власти, однако он с трудом может существовать «без абсолютистского монопольного государства», поскольку люди по природе эгоистичны, а естественный коллективизм им чужд (с. 90). Ключевой фигурой демократического дискурса этой эпохи автор считает Алексиса де Токвиля, который «окончательно легитимировал новое значение и ценность демократии» (с. 98). Демократия после него начинает трактоваться как черта не столько государства, сколько общества. С этого момента четко обозначается тенденция к распространению демократических принципов в низах и утверждению институтов смешанного правления с широкой избирательной базой. Народ начинает приобретать черты политически осознанной и гипотетически деструктивной силы. Признание демократии оправдывается только тем фактом, что отныне заложенный в ее основания революционный потенциал будет находиться под пристальным наблюдением власти.

Соответственно, место и роль народных масс в демократической системе превращаются в предмет постоянного переосмысления. В начале XX века в США развернулась показательная дискуссия, связанная с реальностью того «народа», от лица которого вершится судьба государства. В то время в политической науке доминировало убеждение, что залогом стабильного развития демократии выступает неуклонная ориен-

тация политических деятелей на общественное мнение. Однако параллельно и столь же бурно понятие «общество» подвергается острой критике: множеству специалистов этот концепт представлялся фикцией, фантомом; отстаивая подобную позицию, они подчеркивали, что такой целостности просто не существует – ее место занимают «апатичные индивиды, которым что-то внушают средства массовой информации». Сторонники этой линии, живой и сегодня, утверждают, что действовать должны исключительно компетентные элиты: «публика же в лучшем случае может сосредоточиться и выразить свое мнение в критической ситуации – когда элиты не могут договориться по какой-то проблеме и обращаются к массам» (с. 112). Опыт тоталитаризма, пережитый человечеством в XX веке, внес, разумеется, свои коррективы в осмысление этой проблематики. После Второй мировой войны демократия предстала своеобразным лекарством от тоталитарных и авторитарных режимов, «обрастая дополнительными критериями», в число которых вошли права человека, публичная сфера, правовое государство (с. 116). В годы «холодной войны» этот подход укрепляется, причем демократия теперь прочно соотносится с богатством страны и наличием в ней многочисленного среднего класса. И вот здесь Магун приходит к одному из своих самых важных выводов, характеризующих сущностную метаморфозу, пережитую демократией к XXI веку:

«То, что вначале мыслилось как включение бедноты в политический процесс, теперь превратилось в режим богатых. [...] Мы имеем дело с диалектическим переворачиванием понятия: не в том смысле, что оно приобрело полностью противоположный смысл, но что оно стало, при сохраняющемся в целом объективном значении, означать тенденцию, обратную изначальной» (с. 117).

Общий вывод, собственно говоря, уже понятен: никакого вековечного, хрестоматий-

тийного, раз и навсегда данного представления о демократии не существует. Она меняет свои смыслы и значения, причем иногда это делается довольно радикально – демократия одной эпохи может быть абсолютно не похожей на демократию другой эпохи. Автор пишет:

«Власть народа остается заигрыванием буржуазного гегемона с опасными классами, а “демос”, который никогда физически не присутствует, действует [...] как прирученный демон, мифический герой наводящей ужас анархии» (с. 135).

Подобная аналогия народа с демоническим началом указывает на то, что «демократия всегда имеет дело с обществом разделенным: солидарность соседствует в нем с разобщающими тенденциями» (с. 135). Говоря о будущем демократии, автор отмечает, что ее «необходимо специально организовывать» (с. 144). Это довольно деликатная задача, поскольку избыток политической деятельности в том или ином обществе столь же вреден, как и ее недостаток. Если аполитичность влечет за собой стагнацию, то избыточная демократичность оборачивается нестабильностью. Именно поэтому «в политике, помимо правовой системы, всегда важно искусство маневрирования, наличие которого объясняется внутренней противоречивостью самой политической деятельности, ее внутренним демонизмом» (с. 146).

МАРГАРИТА МОРОЗКИНА

Город как графика: Нижний Новгород на картах и гравюрах XVI–XXI веков

Сост. АНТОН МАРЦЕВ, АЛЕКСАНДР КУРИЦЫН, АНАСТАСИЯ МАКАРЕНКОВА

Нижний Новгород: ЛИТЕРА, 2021. – 212 с.

Мое знакомство с материалами будущей книги «Город как графика: Нижний Новгород на картах и гравюрах XVI–XXI веков»

произошло в ту пору, когда она только задумывалась, еще до того, как в Волго-Вятском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина прошла одноименная выставка (лето 2021 года). Несколько лет назад я работала в Техническом музее, директором которого был коллекционер Вячеслав Хуртин. Именно его собрание графики легло в основу проекта, и на момент нашего знакомства он уже азартно выкупал гравюры с изображением Нижнего Новгорода, чтобы потом, совершив символический жест, подарить их родному городу. Область интересов – с точки зрения краеведов, музейных работников и профессиональных патриотов – довольно занятая, но, признаться, от меня сравнительно далекая, и дело здесь не только в специализации. Карты и планы города – это прежде всего исторические документы: информация, ими предоставляемая, максимально абстрактно-схематически обобщена и кодифицирована. Как однажды сказал немецкий режиссер-документалист Харун Фароки: «Вид, доступный богу или пилоту». Да и те гравюры с видами города, что демонстрируют нам Нижний Новгород не с «небесной», а вполне себе земной (ну, или в крайнем случае – речной) точки зрения, также очищены от прохожих, местных характерных персонажей и героев, являя взгляду чистую схему.

Эти произведения говорят о городе – и исключительно о нем; авторское присутствие сведено к минимуму, его обнаружение требует профессиональных навыков. Но даже воспитанный искусством взгляд спотыкается и постоянно стремится оценивать виды улиц и площадей не с эстетической, а скорее с эпистемологической точки зрения: насколько верно представлена реальная – современная изображению – топография города и как она изменилась сегодня. Сухая визуальная форма автоматически заполняется историческими данными и свидетельствами, а поэтика архитектуры, обильно представленная на гравюрах, признаться,

ускользающая для меня эстетическая материя. В общем, созерцание карт и планов – это в лучшем случае бездумное наслаждение мастерством непрерывной линии и колорита, но, как правило, взгляд не столько эстетически оценивает, сколько блуждает по изображению в поиске знакомых топонимов. Узнавание – это скорее проблема, чем добавочное удовольствие в попытке получить эстетическое переживание.

Вообще Нижний Новгород не может похвастаться большим разнообразием визуальных образов в искусстве, несмотря на 800-летнюю историю. Особенно это касается домодерного периода. В таких образах не было необходимости: город не был ни экономической доминантой, ни духовным центром, да и традиция русского градоописания – это привилегия столиц, и даже в этом – столичном – случае традиция, довольно поздняя. Одна надежда на талантливых иностранных путешественников и шпионов. Первое изображение относится к XVII веку, это гравюра секретаря голштинского посольства Адама Олеария, которая опубликована в книге «Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно». Не лишенная явных топографических ошибок, она заложила основы очевидного иконического образа города-крепости на горе, возвышающегося над судоходной рекой. В визуальный канон также входит ряд видов Нижегородской ярмарки, «Печорский монастырь» Алексея Саврасова и, конечно, «Воззвание Минина» Константина Маковского – хотя это не столько о городе, сколько о народной силе и патриотизме. Но в основном мы чаще всего имеем дело с прикладными документами, которые были необходимы архитекторам, землемерам, картографам и градоначальникам. Обычно этот визуальный пласт если и обращает на себя внимание, то почти исключительно в качестве вспомогательного

иллюстративного материала, но в этом проекте как раз он и играет заглавную роль.

Иронично, что комментариями к этой почти технической документации выступают уникальные объекты – произведения современного искусства. Обычно бывает наоборот. Объекты были представлены на выставке, их воспроизвели и в книге. Но если в экспозиции работы служат легитимирующим «прикрытием» проведения музейной выставки в стенах Центра современного искусства, то в каталоге, благодаря пояснениям кураторов, раскрылась их концептуальная роль: подсвечивание приемов, мотивов или отдельных аспектов того или иного блока произведений.

Хотя в визуальном «архиве» города иконических образов прошлого не так много, их трансляция непрерывна и чрезвычайно важна для современного конструирования локальной идентичности. Здесь экономический ресурс визуального (туристическая узнаваемость) оказывается неотделим от политического. Образно говоря, с помощью подобных визуальных документов проекция прошлого обретает плотные очертания, призрак становится узнаваемым и почти осязаемым. Оккупируя настоящее, он начинает воспроизводиться в различных формах – будь то рекламный проспект, картинка в руках экскурсовода, рельеф на памятнике или, скажем, описание в книге о приключениях сыщика Лыкова¹. Даже второстепенная карта или видовое изображение оседает в памяти смотрящего как послеобраз. И кому-то этот послеобраз сможет помочь установить новую – аффективно насыщенную – связь с городом, его землей и людьми, жившими в нем в прошлом и живущими сейчас.

Уникальным – в первую очередь живописным – шедевром проект противопоставляет тиражированные прикладные документы. Это не только переворачивает

1 Речь идет о персонаже серии исторических детективов, написанных современным нижегородским писателем Николаем Свечиным.

негласную иерархию, но восстанавливает справедливость – как еще современные авторы могут масштабно представить прошлое города, если не с помощью тиражной графики? В количественном отношении именно она представляет основную совокупность визуальных материалов, которые сохранились от глубокого прошлого города в архивах, хранилищах, частных коллекциях. Тут можно возразить, указывая на сохранившиеся архитектурные сооружения вроде Кремля или Домика Петра. Да, это тоже видимые – и даже куда более видимые, чем карты и планы, – свидетельства прошлого, но это свидетельства, «залеченные» штукатуркой, перекрашенные и перестроенные, едва ли способные дать почувствовать наблюдателю ауру истории: дать «уникальное ощущение дали» (Вальтер Беньямин). Этакий корабль Тесея. А кроме этого, они неотделимы от современной гетерогенной ткани города, что тоже усложняет вычленение собственно исторических элементов. Старый Нижний Новгород, представленный в графике, не растворяется в актуальной повседневности, а будучи собранным в целостные исторические образы, именно в таком качестве невольно проецируется на современность, оказывая тревожащий и одновременно будоражащий эффект на восприятие зрителя: очертания реальности колеблются, один образ города начинает прорастать во всех других.

Возвращаясь к выставочному проекту, каталогом которого и является рецензируемое издание, не могу не отметить, что коллекционер удачно сработался с молодой кураторской командой, которая при поддержке своих коллег смогла из обширного, но несистематизированного частного собрания собрать полноценный музейный проект с правильно расставленными акцентами и четкими ограничениями: рассматриваемый период – XVI–XXI века; предмет изображения – Нижний Новгород; медиум – печатная тиражная графика (за исключени-

ем произведений современного искусства); основной источник работ – частная коллекция Вячеслава Хуртина. Столь же тщательно команда подошла к созданию каталога, заполнив поля и пропуски, которые обнаружились во время проведения выставки.

Эта книга не атлас, поэтому некоторые карты неразборчивы, плохо читаются и скорее представляют собой прихотливую, едва опознаваемую в качестве карты абстракцию из условных линий и мельчайших топонимов, обрамленную рамками и пышно выписанными аллегорическими фигурами. (Кстати, в пространстве музейной экспозиции зрителям предлагались лупы для пристального изучения документов.) К каждому разделу прилагается введение от авторов, и практически все изображения снабжены цитатами и комментариями по поводу предмета изображения, техники, автора, издания, бытования и прочего. Для дополнительной научной строгости и точности присутствуют статьи приглашенных экспертов, которые, по словам редактора, должны были восполнить пробелы в знаниях кураторов и составителей. Книга не претендует на энциклопедический охват исторического материала даже по части карт Нижнего Новгорода – тем более, что такое собрание уже было давно опубликовано. Подход к визуальному материалу в книге «Город как графика» иной. Его можно назвать гибридным, свободно совмещающим историческое знание, критику источника и искусствоведение, с акцентом, как ясно из названия, именно на последних двух аспектах. Поэтому ждать подробного очерка истории Нижнего Новгорода не стоит, хотя все ключевые для понимания изложенного и показанные факты упоминаются.

Формат издания можно обозначить как «полифонический» расширенный каталог выставки. Его структура полностью повторяет структуру экспозиции, ее два основных раздела – «Карты» и «Планы и виды». Отдельно среди видов в книге приведены

изображения Нижегородской ярмарки, цикл работ местного графика-самоучки Дмитрия Быстрицкого, который жил и работал в городе в XIX веке, и экскурс в технику и историю печатной графики.

Говоря образно, книга, отказываясь от воплощения «взгляда бога» в модернистской решетке параллелей и меридиан на картах, «приземляет» читателя, представляя изображения, доступные человеку, который «мыслию поля мерит», создавая планы, и выхватывает визуальные доминанты: это виды, основные сюжеты которых – узнаваемая излучина Стрелки (место впадения Оки в Волгу), панорамы Дятловых гор, на которых возвышаются стены Кремля и ярмарка.

После раздела с картами – тексты в книге всегда идут за изображениям, этот порядок связан с личными предпочтениями редактора, выдвигающего визуальный образ вперед слова, – следует статья филолога-краеведа Николая Морохина, призванная объяснить изменения административных границ и деления региона на более мелкие территориальные единицы. Текст призван в буквальном смысле оживить линии и знаки на картах, но тут встает проблема, о которой говорилось выше: карты не оформлены в виде атласов – местами линии расплываются, а буквы не читаются. В результате карты и фактологически насыщенные описания существуют по отдельности.

Вообще нельзя сказать, что в потоке книги, как по «Реке времен», приведенной в издании, легко плыть. Приглашенные эксперты довольно сильно отличаются друг от друга по стилю и манере мышления, и часто радикальные экспертные суждения контрастируют с осторожными редакторскими заметками. Так если Николай Морохин пишет академически насыщенно и строго, то приглашенный искусствовед и куратор Сергей Хачатуров выглядит на его фоне поэтом, легко жонглирующим концепциями и фактами. Именно его статья к разделу с видами Нижнего Новгорода вызвала наибольшие

споры в местном краеведческом сообществе. От рассуждения о фукольдианских гетеротопиях, обнаруженных исследователем в изображениях городских видов, Хачатуров свободно перешел к разговору о нижегородской архитектуре, активно апеллируя при этом к предмету своих научных интересов – готическому вкусу. Эта тема крайне редко обсуждается в местном контексте, хотя сам термин упоминает еще в середине XIX века автор важнейшего очерка об истории Нижнего Новгорода Николай Храмцовский. Но если, скажем, вольные антропологические изыскания московскому ученому могли бы простить, то посягательство чужака на привычные интерпретации местной архитектуры, еще и основывающееся буквально на нескольких изображениях, локальные краеведы восприняли как минимум с сомнением.

Отдельно редакторы выделили среди видов и планов города изображения Нижегородской ярмарки. Ныне не существующий комплекс представлял собой классицистический город в городе, который явно был большей диковинкой, нежели обычные городские дворы, трактиры и доходные дома на другой стороне реки. Тем интереснее – по контрасту – раздел с историей создания цикла графических работ Дмитрием Быстрицким, чиновником и непрофессиональным художником, который смотрел на город не как путешественник, автоматически фиксирующий «экзотику», а как местный, нижегородец. Жизнеописание автора представил редактор издания, искусствовед Антон Марцев. Удивительной здесь является сама ситуация: город XIX века запечатлен изнутри, а не со стороны, в оптике чужака. Тем более, что автор совершенно точно работал на пленере, а не рисовал по памяти. В этом цикле на первом плане не столько художественное мастерство Быстрицкого, его умение построить световоздушную перспективу или точно передать архитектурные детали – привлекает выбор мест, очевидных и не очень. Это умение выбрать место особенно

интересно современному человеку, не расстающемуся со смартфоном и всегда готовому сделать снимок понравившегося вида.

От глаза книга далее переходит к руке, чтобы сделать акцент на технике представленных работ: что эта специфика медиума сообщает произведениям (*medium is message*)? Поэтому ближе к концу каталога читателя ждет статья художника и куратора Евгения Стрелкова об истории печатной графики. Стрелков, совершая экскурс в развитие ее технологии, ставит себе целью ответить на вопрос, какую роль играет этот вид искусства в развитии медиа. При этом стиль Евгения Стрелкова, в отличие от упоминавшейся выше статьи Морохина, куда более живой и свободный – у читателя не складывается впечатление, что редакторы решили поделиться с ним томом «Большой советской энциклопедии». Завершает издание обращение коллекционера Вячеслава Хуртина к читателям.

Рецензируемая книга не похожа ни на одно местное краеведческое издание, которое когда-либо попадало мне в руки. В нем отсутствуют клише, например, про «карман России», и надоевшие цитаты вроде приписываемой Екатерине II фразы: «Сей город ситуацией прекрасен, а строением мерзок». В книге чувствуется живая мысль и заинтересованный взгляд. Это оригинальное и амбициозное издание, предлагающее нам в буквальном смысле слова посмотреть на Нижний Новгород еще раз.

АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА

Век тревожности. Страхи, надежды, невроты и поиски душевного покоя

СКОТТ СТОССЕЛ

М.: Альпина нон-фикшн, 2020. – 464 с. – 2000 экз.

Придумав для своей книги несомненно цепляющее название, ее автор спешит

сделать сделать важную оговорку. «Я не врач, не психолог, не социолог, не историк, не науковед, – предуведомляет он. – Будь на моем месте любой из них, этот труд приобрел бы куда больший академический вес» (с. 31). Тем не менее зачислить автора в дилетанты тоже не получится: выполняя обязанности главного редактора журнала «The Atlantic», он много пишет, причем материалы его печатаются на страницах флагманов американской бумажной прессы, включая «The New Yorker», «The New Republic», «The New York Times», «The Wall Street Journal». Представленное им произведение – довольно типичный образец жанра *intellectual fusion*, излюбленного нынешней публикой и сочетающего в себе интроспекцию и репортаж с историческими, литературными, философскими, религиозными репрезентациями описываемого автором явления. В нашем случае речь о психологическом состоянии, неотступно преследующем современного человека, – о хронической тревожности, превратившейся буквально в знамение времени.

В отличие от Чарльза Дарвина, Зигмунда Фрейда или Уильяма Джеймса, автор не претендует на формулировку каких-то принципиально новых теорий. Он лишь обобщает, но делает это весьма масштабно, причем в нескольких плоскостях сразу: по его собственному свидетельству, за десятилетие, ушедшее на подготовку книги, пришлось проработать сотни тысяч страниц старых и новых текстов, посвященных разным аспектам тревоги. Уже сам список упоминаемых беспокойств и страхов выглядит более чем впечатляющим. Наряду с известными всем и вполне обыденными разновидностями беспокойства, обусловленными, например, заботами о собственном и чужом здоровье, приближении старости или финансовом благополучии, здесь упоминаются и не столь типичные состояния различной степени диковинности: например, боязнь потери сознания (астенофобия)



или тошнота в самолете (аэронаузифобия). Особую интригу повествованию придает то, что Стоссел самокритично приписывает самому себе не менее дюжины всевозможных расстройств.

«Начиная с двухлетнего возраста я представляю собой комок фобий, страхов и неврозов. А в десять лет меня впервые обследовали в психиатрической клинике и отправили к психиатру для лечения тревожности» (с. 13).

Читателя, к этому моменту и так уже заинтересованного – ведь носителя двух десятков психических расстройств одновременно встретишь не каждый день, – еще более увлекает то, что автор отнюдь не сломался под гнетом неотступной тревоги, напротив, он много и даже очень много, лечился, попробовав, помимо банальной индивидуальной психотерапии, которой отдал тридцать лет, еще семейную терапию, групповую терапию, когнитивно-поведенческую терапию, рационально-эмоциональную терапию, терапию принятия и ответственности, ролевые игры, экспозиционную терапию, поддерживающе-экспрессивную терапию и многое другое, вплоть до йоги, стоицизма и алкоголя в различных комбинациях. Тем не менее «все эти способы оказались бессильны против фундаментальной тревожности, словно впаянной в душу и заложенной в тело и временами превращающей жизнь в ад» (с. 14). С годами надежда Стоссела излечиться истаяла до смиренного желания хотя бы сжиться со своим печальным состоянием.

Стоссел отнюдь не считает себя уникалом, настаивая на том, что его кейс интересен именно своей типичностью. «Тревожность с сопутствующими расстройствами является на сегодняшний день самым распространенным из официально классифицированных психических заболеваний в Соединенных Штатах, опережая в этом отношении даже депрессию и другие аффективные расстройства», – отмечает он (с. 15).

Причем тревожность вовсе не безобидна, что позволяет ученым сравнивать вызываемые тревожным расстройством психические и физические отклонения с издержками диабета: последние тоже иногда поддаются коррекции, иногда смертельны, но неизменно мучительны. Вопреки встречающемуся иногда убеждению в тревоге пребывают не только граждане США: согласно приводимым в книге данным, в тот или иной жизненный период от этого состояния страдает каждый шестой человек в мире, причем чаще всего болезнь длится не менее года.

Тем не менее еще четыре десятилетия назад тревожность просто не признавалась медиками. Только в 1980-м лечение парадоксальным образом опередило диагноз: изобретение транквилизаторов подтолкнуло признание тревожности в качестве диагностической категории. Сегодня об этом злополучном состоянии пишутся тысячи научных работ ежегодно и ему целиком посвящены несколько специализированных научных журналов. Тем не менее, несмотря на все открытия в области нейробиологии и нейроанатомии, споры о причинах тревожности и способах ее лечения далеки от завершения. Если психофармакологи и психиатры в борьбе с тревогой уповают на медикаменты, то когнитивно-поведенческие терапевты склонны полагать, что сами медикаменты тревогу и вызывают. Отсюда и вывод, позволяющий автору работать самой широкой кистью: «Правда в том, что тревожность – одновременно феномен биологии и философии, тела и духа, инстинкта и рассудка, личности и культуры» (с. 22).

Стоссел не обходит стороной и вопрос о собственном праве писать на подобные темы. По словам автора, его родственники испытывали непреодолимую тревогу на протяжении нескольких поколений, причем как по отцовской линии, так и по материнской. Но, обращаясь к трактовке личных историй, автор книги избегает генетического детерминизма: более перспективным

путем ему представляется увязывание депрессивных состояний не с наследственностью, а с историческими и культурными контекстами человеческой жизни. Родители Стоссела в 1930-е бежали от нацистов, а это, по его убеждению, не могло не сказаться на их мировосприятии. Автор ссылается на исследования, где доказывалось, что именно из-за тысячелетнего опыта страха мужчины-евреи страдают от депрессий и тревожности на порядок чаще, чем представители других этнических групп. Культурно-этнический багаж матери Стоссела был исключительно протестантским, но и здесь было ничуть не легче, поскольку всю жизнь она придерживалась надежного принципа: «Нет такой персональной эмоции и семейной проблемы, которой нельзя подавить и скрыть». Оставаясь верным сыном своих родителей, автор называет себя «евреем, загнанным внутрь подавляющего свои чувства нервозного англосаксонского протестанта» (с. 27).

Личные реминисценции закономерным образом подводят к главному вопросу книги: а что же, собственно, делать со всем этим беспорядком – как справляться с тревожностью и надо ли вообще стремиться к полной победе над ней? Подступаясь к этой теме, Стоссел пытается разобраться, вред или пользу приносят встревоженным людям фармакологические успокоительные средства. Еще в 1950-е, когда начался бум на препараты такого рода, некоторые психиатры предупреждали: недостаточный уровень тревоги опасен для социальной системы, поскольку снижает потенциал ее приспособляемости к угрозам и вызовам среды. «Без тревог не было бы успехов», – формулирует эту закономерность Дэвид Барлоу, один из собеседников автора и основатель Центра изучения тревожности и сопутствующих расстройств при Бостонском университете. При таком подходе физиологически фиксируемая тревожность предстает универсальным адаптивным ме-

ханизмом, действующим поверх любых культурно-исторических различий. В подтверждение подобного хода мыслей автор ссылается на Сёрена Кьеркегора: «Кто научился страшиться надлежащим образом, тот научился высшему» (с. 42).

Следующий тезис Стоссела логичным образом вытекает из всего, изложенного выше. Общество, рассматривающее тревожность в качестве пусть неприятной, но все-таки бесспорной нормы, не должно позволять себе стигматизировать психические заболевания. Ни клиническая депрессия, ни биполярное расстройство, ни хроническая тревожность не являются позорным дефектом, исправляемым, как внушают фармацевтические компании, только таблетками. В конце концов, человек отнюдь не единственный представитель животного мира, умеющий тревожиться: звериные эмоции привлекали внимание ученых еще с античности. Более того, со временем выяснилось, что в условиях постоянного стресса у животных развиваются те же болезни психогенного происхождения, что и у человека: повышенное давление, сердечно-сосудистые и язвенные заболевания. У людей тем не менее это универсальное свойство имеет свою специфику, обусловленную осознанием себя как личности и наличием представления о смерти.

Стоссел солидарен с дефиницией, которой его снабдил один из лечивших его психотерапевтов: «Тревога – это предчувствие будущего страдания, невыносимой катастрофы, которую нет надежды предотвратить» (с. 73). Без труда можно заметить, что в этом определении базовой характеристикой тревоги, отличающей ее от животного инстинкта, выступает направленность в будущее. Действительно, у животных отсутствует ощущение завтрашнего дня, они пребывают в «вечном сейчас», и поэтому им неведомы ипохондрия и страх смерти. Отталкиваясь от предложенного толкования, автор вслед за некоторыми

специалистами предлагает разбить соперничающие теории тревожности и подходы к ее лечению на четыре категории: психоаналитическую, когнитивно-поведенческую, биомедицинскую и эмпирическую. Интересно, что все перечисленные доктрины ожесточенно воюют между собой: дело в том, что от победы какой-то одной из них зависит благополучие крупных профессиональных инфраструктур. В центре же научных распрей остается тот самый камень преткновения, о который спотыкались еще Гиппократ и Платон: это вопрос «считать тревогу болезнью или духовной проблемой, телесным недугом или психическим» (с. 69). Самоопределяясь в этих спорах, автор поддерживает позицию Фрейда: по его мнению, тревожность скорее всего представляет собой адаптационное приспособление, призванное защитить психику от иных источников печали и боли.

Современная наука, впрочем, вполне отдает себе отчет в том, что до четкого разграничения души и тела в сфере тревожного – как, впрочем, и в других сферах – еще очень далеко. Так, в последние годы специалисты по психосоматике не раз обращали внимание на тесную взаимосвязь между тревожной чувствительностью сознания и синдромом раздраженного кишечника: согласно приводимым в книге сведениям, наблюдения в учреждениях первичной медицинской помощи показывают, что большинство хронических желудочных расстройств происходят из расстройств психики – от 42% до 61% пациентов с функциональными заболеваниями желудочно-кишечного тракта имеют официальный психиатрический диагноз, причем чаще всего это как раз «тревожность» или «депрессия». Именно под таким углом зрения в книге анализируется, в частности, эметофобия (боязнь непроизвольных рвотных спазмов). В этом синдроме проявляются множество человеческих страхов сразу: и перед утратой контроля, и перед открытой

демонстрацией того, что происходит внутри собственного организма, и, в конечном счете, перед смертью – дело в том, что «нервный желудок» выступает неоспоримым доказательством телесности человека, а значит, и его конечности (с. 110). Однако и с этим можно существовать: автор упоминает, что терзаемый описанным недугом Чарльз Дарвин прожил до 73 лет – весьма преклонного по тем временам возраста.

Гипертрофированная тяга к саморепрезентации, отличающая нынешнюю эпоху, актуализирует и проблему страха перед публичными выступлениями. Выдающиеся личности, которым с большим или меньшим успехом удавалось – или, напротив, не удавалось – преодолевать парализующую боязнь аудитории, встречались в любую эпоху. Причем опыт публичности не играл здесь никакой роли: выставлять себя перед публикой ненавидели такие, казалось бы, искушенные в саморепрезентации деятели, как Цицерон, Уильям Гладстон или Лоуренс Оливье. Категорическое нежелание ораторствовать можно считать одним из проявлений социофобии: у страдающих ею людей стресс вызывает любой социальный контакт. Кроме того, сегодня подтвержденной считается тесная взаимосвязь между социофобией и суицидально-депрессивными наклонностями, а также предрасположенностью к алкоголю и наркотикам. Два выдающихся психотерапевта XX века, Альберт Эллис и Аарон Бек – основоположники рационально-эмоциональной поведенческой терапии и когнитивно-поведенческой терапии соответственно, – доказывали, что лечение социальной тревожности сводится, в конечном счете, к преодолению страха перед неодобрением. Этот страх связан еще и с тем, что мозг социофоба физиологически настроен на гиперчувствительность к критике. Исходя из этого еще Эпиктет утверждал, что лучшее средство от такого типа социальной тревожности – снизить ощущение

ние стыда, сознательно и целенаправленно подвергая себя унижению.

Особый колорит книге придает то, что автор, отнюдь не ограничиваясь чистой теорией, постоянно расцвечивает свое повествование рассказами о собственных мытарствах. Как уже говорилось, жалуясь на свою неотступную тревожность множеству врачей, он перепробовал на себе едва ли не все подходы и методики. Так, выдающийся гарвардский психофармаколог лечил его какими-то шаблонными таблетками, и пациент безропотно принимал их – до тех пор, пока не прочитал в газете, что того же доктора приглашали поставить на ноги гориллу, «приунывшую» в местном зоопарке, и животному прописали тот же антидепрессант, что и Стосселу. По мнению специалиста, у автора и у обезьяны просматривалась одна и та же медицинская проблема, требующая, соответственно, одного и того же фармакологического вмешательства.

Но большая часть медиков все-таки полагают, что проблема тревожности является не столько биологической, сколько когнитивной, и в этой парадигме тревожность предлагается снижать силой воли, когнитивной перенастройкой и нарочитым сталкиванием пациента с его главными страхами. Однако прием лекарств блокирует этот разумный, в общем-то, путь. Претензию, предъявляемую таблеткам, Стоссел адресует и другим способам химической терапии, включая регулярный прием кокаина, кофе и никотина. Отдельно он упоминает и об алкоголе, который не-которые врачи прописывали страдающим тревожностью пациентам в чистом виде. Так, в 1890-е лондонский врач Адольф Бриджес рекомендовал больным снимать меланхолию портвейном или бренди. По его словам, «подходящие виды спиртного», особенно бургундское, кларет, портвейн, белые вина, портер или бренди, «способны поправить нервы гораздо лучше любого другого лекарства» (с. 191). Несмотря на

то, что звучат подобные рецепты красиво, эффект от них не очень высок.

С появлением антидепрессантов психические заболевания и эмоциональные расстройства все настойчивее начали объяснять сбоями в определенных системах нейромедиаторов: шизофрению и наркозависимость – проблемами в дофаминовой системе; депрессию – выбросом стрессовых гормонов из адреналиновых желез; приступы паники – неполадками в серотониновой системе. Однако настоящим переворотом в лечении тревожности стало внедрение в медицинскую практику имипрамина, который радикально изменил представления психиатров о преодолении этого состояния (с. 218). Паническое расстройство было первым психическим заболеванием, открытым в ходе наблюдения за реакциями на медикаменты: врачи исходили из того, что имипрамин лечит панику, следовательно, существует и само паническое расстройство. Но появление каждого нового средства медикаментозной терапии неизменно вызывает один и тот же вопрос: где проходит граница между тревожностью как психиатрическим расстройством и тревожностью как обычной бытовой проблемой? Это довольно важная тема, поскольку в истории фармакологии не раз повторялась одна и та же закономерность: за увеличением числа транквилизаторов следует рост диагностированных тревожных расстройств, а за пополнением арсенала антидепрессантов следует рост депрессий.

Разумеется, Стоссела занимает и более прагматический сюжет: как влияет на его здоровье долгосрочный прием бензодиазепинов? Он признается, что на момент написания книги принимает препараты этой группы – валиум, клонопин, ативан, ксанакс – в разных дозах и с разной частотой на протяжении более тридцати лет. Между тем за тот же период вышли десятки научных публикаций, указывающих на когнитивные нарушения у людей, долго

принимавших бензодиазепины; более того, некоторые исследователи стали говорить даже о физическом уменьшении объема мозга у людей, сидящих на транквилизаторах постоянно. «Не поэтому ли в свои 44, уже несколько десятилетий почти без перерывов принимая транквилизаторы, я чувствую себя глупее прежнего?» – задается автор закономерным вопросом (с. 243). Да, он признает, что имеет «медицинские показания», оправдывающие прием медикаментов, но в то же время считает свой недуг специфическим свойством личности.

«Мои хлипкие нервы делают меня в моих же глазах трусом и слабаком в самом печальном смысле этих слов, поэтому я и скрываю эту свою особенность, а попытки избавиться от этого недостатка с помощью лекарств представляются мне и подтверждением, и усугублением моей слабости духа» (с. 263).

Родные и близкие предлагают не корить себя, но тем не менее Стоссел не может не согласиться с 40% респондентов опроса

Национального института психического здоровья США, признавших правильным утверждением следующее:

«Причина психических расстройств – слабость духа, а прием транквилизаторов для коррекции или избавления от этого состояния только подтверждает эту слабость» (с. 264).

Как жить с тревожным расстройством? Автор книги на личном примере показывает, что с этим недугом можно не только сосуществовать, но и преуспевать. Несомненно, опыт борьбы с тревожностью способен заинтересовать и российского читателя, поскольку этот описываемый недуг, особенно в период пандемии, распространился по всему миру, нешуточно затронув и Россию. А полоса потрясений, в которую наша страна вступила зимой нынешнего года и конца которой пока еще не видно, еще более подогреет спрос на подобные произведения.

Юлия Крутицкая

www.eurozine.com

The most important articles on European culture and politics
Eurozine is a netmagazine publishing essays, articles, and interviews on the most pressing issues of our time.

Europe's cultural magazines at your fingertips
Eurozine is the network of Europe's leading cultural journals. It links up and promotes over 100 partner journals, and associated magazines and institutions from all over Europe.

A new transnational public space
By presenting the best articles from the partner magazines in many different languages, Eurozine opens up a new public space for transnational communication and debate.

The best articles from all over Europe at www.eurozine.com **eurozine**